

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

СКАЗКИ

Классика в школе (Эксмо)

Михаил Салтыков-Щедрин
Сказки

«Public Domain»

Салтыков-Щедрин М. Е.

Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain»,
— (Классика в школе (Эксмо))

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены «История одного города» и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, которые изучают в 7, 8 и 10-м классах.

© Салтыков-Щедрин М. Е.

© Public Domain

Содержание

Сказки	5
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил	5
Дикий помещик	10
Премудрый пискарь	15
Самоотверженный заяц	18
Бедный волк	21
Медведь на воеводстве	25
I. Топтыгин 1-й	25
II. Топтыгин 2-й	28
III. Топтыгин 3-й	29
Вяленая вобла	31
Орел-меценат	38
Карась-идеалист	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Михаил Салтыков-Щедрин

Сказки

Сказки

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Станный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился злобный огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом, – ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

– Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

– Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожил изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же... мужика?

– Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинулись они на него, – небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял

два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужчина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужчина дикой конопля, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужчину к дереву, чтоб не убежал, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужчина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани – и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаше и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подьяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; послали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

1869

Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

– Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прощению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, – видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

– Одно только слово написано, – молвит глупый помещик, – а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет – сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется – сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

– Больше я нынче этими штрафами на них действую! – говорит помещик соседям своим, – потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут – всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет – помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет – помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

– Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик – никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чувствует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежусь свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

– Куда же ты крестьян своих девал? – спрашивает Садовский у помещика.

– А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

– Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

– Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

– Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? – сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами в пятером пульку-другую сыграть!»

Сказано – сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали – и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

– А оттого это, – хвастается помещик, – что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

– Ах, как это хорошо! – хвалят помещика генералы, – стало быть, теперь у вас этого холопского запаха нисколько не будет?

– Нисколько, – отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

– Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? – спрашивает помещик.

– Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

– Что ж это такое? – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

– А вот, закусите, чем бог послал!

– Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

– Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

– Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? – накинулись они на него.

– Сырjem кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

– Однако, брат, глупый же ты помещик! – сказали генералы и, не dokonчив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попала колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

– Посмотрим, – говорит, – господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взиать». И как назло, сколько раз ни разложит – все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

– Уж если, – говорит, – сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут – персики, тут – грецкий орех!» Посмотрит в окошко – ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по шучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться – ан там уж пыли на вершок насело...

– Сенька! – крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, – ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, – и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещицкой непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирая!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

– Ева, мой друг! – говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

– Сенька! – опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

– Чем бы, однако, заняться? – спрашивает он себя, – хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

– Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? – спрашивает исправник.

– А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

– Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

– Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

– Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

– Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

– А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может?

– Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

– Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

– Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

– Глупый же вы, господин помещик! – молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» – и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

– Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! – говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонка и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

– Кшшш... – бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

– Сенька! – вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

– Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хотя в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – а он уж тут как тут. Словно стрела, соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

– Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? – сказал он медведю.

– Хотеть – отчего не хотеть! – отвечал медведь, – только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

– А почему так?

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую грудю денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

– И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же случилось, однако, с помещиком?» – спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

1869

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке – червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?... в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил он, – потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься – ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, – даже лещей-лебебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они – не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла – никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит – «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется – и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пуцай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным

лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет жития своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят – он будет моцион делать, а днем – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглощает воды – и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок – глядь, ан у него целых полпрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется – только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили – то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется – вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискаря семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он

почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствоваться пискарью породе и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал и умирал – дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунилось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, – свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого*?

1883

Самоотверженный заяц

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайнышка! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьи скажет, и оба залыются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косою!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть и так: играла, бедняжка, и кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего – куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается – ан это невестин брат.

– Невеста-то твоя помирает, – говорит. – Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пушал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности – неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайнышке, которая тем только и виновата, что его, косоного, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайнышку, передними лапками за ушки, и все бы миловал да по головке бы гладил.

– Бежим! – говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прыгнет – и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

– Не могу, – говорит, – волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

– Бежим! – опять говорит посланец.

– Не могу! – повторяет осужденный.

– Что вы там шепчетесь, злоумышляете? – как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу – что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайке и без жениха, и без братца – обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые – а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

– Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! – лепечет осужденный, а сам так и мрет от страха.

– То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

– Так и так, ваше благородие, – вступился тут невестин брат, – сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

– Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, – говорит волчиха. – Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

– Да ведь его на послезавтра есть назначено...

– Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! – заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

– Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косоногого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

– Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, – сказал он, – я его вместо тебя съем; а коли воротишься – обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется – он ее «на уру» возьмет; река – он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото – он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись, – говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар – а вон он как... улепетывает!»

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было – этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайка, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать – это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы – всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведают.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

– Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

– Что больно к спеху зандобилось? – подшучивает над ним зайчиха-мать.

– Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову – господин. Судили тут тетки и сестрицы – и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова – крепись, а давши – держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

– Беспременно меня волк съест, – говорил он, – так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытии (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

– А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась – надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы – на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть ключьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом – и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота – все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг – пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот, наконец, гора. За этой горой – болото и в нем – волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

– Здесь я! здесь! – крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

– Вижу, – сказал он, – что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

1883

Бедный волк

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее – сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страха да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу – баба-то и о сю пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воет, и он воет... как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! – только и раздается про волка в деревнях, – последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо – негодное, шкура жесткая – не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешись, да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить – вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет – только и всего. Лошадь – тяжести возит, корова – дает молоко, овца – волну, а он – разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк – все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и кланут, да и только лютей и лютей от этих покров становился.

– Послушали бы, что в лесу-то делается, – говорил он, – нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, – так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбой все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полюбил.

Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть – с души сопрёт, ежели так задавить да бросить – только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать – я его отпущу».

– Волк, а волк! – молвил Топтыгин, – неужто у тебя совести нет?

– Ах, что вы, ваше степенство! – ответил волк, – разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

– Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал – разве это на совесть похоже?

– Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч, – видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

– Должен, – говорит.

– А ведь я, кроме мясного, – ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая льгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето – нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясе. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушю?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытаться хочет.

– Да ты бы, – говорит, – хоть полегче, что ли...

– Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица – та зудит: рванет раз – и отскочит, потом опять рванет – и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю – шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

– Раскайся, волк! – говорит.

– Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

– Да ты хоть пообещай!

– И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса – та вам что хотите обещает, а я – не могу.

Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

– Пренесчастнейший ты есть зверь – вот что я тебе скажу! – молвил он волку. – Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал – и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастью, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удалыца-живореза не похож стал. Кинется

вдогонку за зайцем – а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести – а собаки так и скачут-заливаются. Подождет он хвост, да и бежит с пустом.

– Никак, я уж и собак бояться стал? – спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет – страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

– А я вот покажу тебе, что такое... мммерррзавец! – остервенился волк.

– Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! – вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал, – ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш – а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, – стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь – благо, а для него она – проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум – одно говорит, а нутро – чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь – ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне, и умрет – словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведет – и дух вон. А откуда и как пришла смерть – он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня – только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинали, нерезонно: не своей волей он разбойничает, – но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» – день и ночь выл он, на небо гля-

дючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши»¹, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит – зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами отмечен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз.

– Вот она... смерть-избавительница!

1883

¹ «Лукаши» – мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав.

Медведь на воеводстве

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли – он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумались. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери – рыскали, птицы – летали, насекомые – ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, – говорили они, – засыплет он нам – тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение – неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушать, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспрременно это должен быть внутренний супостат!»

– Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? – рявкнул он, наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел – только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

– Зачем я его съел? – допрашивал сам себя Топтыгин, – меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» – а я, с первого же шага,

чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

– Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижику съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь – на другую, а скворка – опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

– Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!

Он – за вороной, ан из-за куста зайныка выпрыгнул:

– Бурбон стоеросовый! Чижику съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

– *Risum teneatis, amici!*² Чижику съел!

Лягушка в болоте квакнула:

– Олух царя небесного! Чижику съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижику съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок – так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он – слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижику съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы – наши отцы, мы – ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит – стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижику съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» – крикнули хором воробы, ежи и лягушки.

² Возможно ли не рассмеяться, друзья! (лат.)

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу обидно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

– Так вот оно, общественное-то мнение что значит! – тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, – а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижи-ком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминании об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: «Нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал – ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! – съел Чижику и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел – и первым делом Чижику съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык – все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижику съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижику съел! Чижику съел!» Сколько потребуются генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижику съели – правда ли?»

Пришлось сознаться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижику съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

– Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! – молвил Михайло Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ослом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижику сие!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографии начал – быть бы ему генералом.

II. Топтыгин 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побегал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда – вон под той сосной – казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней писем, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесть в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать (*«similia similibus curantur»*³), но получил ответ, что Магницкий, волею Божией, помре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, – сказал он себе, – стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано – сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужика разорил, а все ему мало кажется. «Постой, говорит, я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пушу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся – кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

– Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

³ Клин клином вышибают (*лат.*).

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвоится наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! – сказал он себе, прочитав резолюцию Льва, – мало напакостишь – поднимут на смех; много напакостишь – на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» – но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях – молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

– Вот до какого мы времени дожили! – роптал Топтыгин 3-й, – чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить – не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли!» – и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих – очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя – и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел – это бы куда ни шло! – а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли – вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чувствует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать – и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только разбежится – стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос – вот какие твои права! У них – права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет – просто пустое место! Они – друг друга поездом едят, а он – задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» – вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» – ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагоприятный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» – стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие – победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения – все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютomu, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагоприятного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

– Об каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле – это: *laissez passer, laissez faire!*⁴. Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой делается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

– Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... – слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагоприятные, но вожаемые лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но явились в труппу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

1884

⁴ Позволять, не мешать! (лат.)

Вяленая вобла

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и повесили на веревочке на солнце: пускай проявится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать⁵.

– Как это хорошо, – говорила вобла, – что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства – об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишествами обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают – сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! – думала она, – такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты около где-нибудь спряталась, – ан и около пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? Господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! – торжествовала она, – когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств – неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось – с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись – везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, напрямик пройти, ан напрямик буреломом завалило, промоинами исковеркало – ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость сознает, а какое для начальства от того отягощение – этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех – все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время – так около столов колесничает. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» – за другое возьмется: «Глядите! ведь это – отдай все, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда с своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, – везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

⁵ Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесплезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел – много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? – да, вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять – мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) – и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут – иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков – ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько проявило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молока, не осталось, – только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней – резонные, чувства – никого не задевающие, совести – на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет – она оглянется, коли есть посторонние – сунет нищему в руку грошик; коли нет никого – кивнет головой: Бог подаст! Встретится с кем-нибудь – непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь – людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

– Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! – воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

– И всем скучно сначала, – стыдливо ответит воблушка. – Сначала – скучно, а потом – хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят около тебя вдоволь – тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступить не умеют, ничему не радуются, ничем не печалются. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось – пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось – ешь! спать вздумалось – спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив – только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, – все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!», или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

– И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? – спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

– От рожденья Бог меня разумом наградил, – скромно отвечает воблушка, – а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» – ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «Respice finem!»⁶. Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена, а другая – налгана. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что же дальше?» – а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь – и тебя никто не тронет!» – ведь это целая поэма! Тускленькая, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, – вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай – всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота – доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем – живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, – твердила она, – чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них – это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умеи «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та возжеленная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем – не загадывать.

⁶ Подумай о последствиях!

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» – и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой – повергли, в третий – опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» – так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». – «Как так? почему?» – «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают – повергай! а не спрашивают – сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

– Откуда у тебя такая ума палата взялась? – обступили ее со всех сторон, – ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

– Оттого я так умна, что своевременно меня проявили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести – ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

– Правильно! – согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: – Коли спрашивают – повергать! а не спрашивают – сидеть и получать присвоенное содержание...

Какое правило соблюдается и доньне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить – и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судьбе: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней – полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие, и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен – тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью – полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности – искалечь частицу: вперед, наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера не устаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» – ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пусть сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они – коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача

мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизнью, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок мнимой), то это уже награда, которая считается остаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрылись, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» – ежесекундно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умирительно, что даже клеветники и чело-веконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провя-ленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о кото-рых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их чело-веконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рука-виц, если б не угрожали согнутием в бараний рог – могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, – говорили они, – мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление – вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, неожиданно-нега-данно, благодаря авторитету пословицы, – положим, благонамеренной и освещенной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, – является радикальное и повсеместное отрезв-ление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представ-ляет ли оно искусного компромисса или временного *modus vivendi*⁷, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того лег-ковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приве-дены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усво-или; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развешивали материи и ожидали оживления промышленно-сти.

⁷ Сосуществования (лат.).

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое – не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

– Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», – возражают ей, – дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку высочил другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется – кто же его делать-то будет?

– Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

– Где мне, Иван Никифoryч! Моя изба с краю... вот разве вы...

– Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного – изба с краю, другой – не об двух головах, третий – чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки – как плети...

«Уши выше лба не растут!» – хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене караули-то читать? – положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? – прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, – говорили и писали они, – учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!»⁸ – повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!

Таким образом, оказалось, что хоть и проявили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной – в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

⁸ Пусть консулы будут бдительны! (лат.)

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

1886

Орел-меценат

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И стати у орла красоты неопи-санной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городского, то непре-менно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотр-рел, выхватил и, выслушав, – простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхва-тил... простил! Простил?!» – вот что в особенности пленяло. «Кого простил? – мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тош-нить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше – больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблаго-получно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он – птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городского может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетариан-цами. И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это проис-ходит от страха, а не от восхищения, как верят поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

– Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце – инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припева-ючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи – кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы – величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну крово-жадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и гово-рит им:

– Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона – птица плодущая и на все согласная. Главным же обра-зом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит ском-поновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скомо-

рохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется – ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется – ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в голову тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чашу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянец на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слышал: что эта птица – малая, не стоит из-за ее клюв марать.

– Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? – спросил сокол.

– Какой такой Бонапарт?

– То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», – а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову – и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье – свет, а неученье – тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» – ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, – значит, пользу в том видели. Вон чирик: только и науки у него, что ведро с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

– Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

– Что ж, я не прочь от наук! – цыкнул орел.

Сказано – сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи – новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей – академию де сиянс, да кстати уж и вороньятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вождественный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, – а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

– Следующий! – цыкнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, – говорил дятел, – трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная – ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся – его отец владыкою над пустыней сделал; а Орелко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил – воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпении кричал:

– Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел – не понимает орел, да и шабаш!

– Что этот дуралей бормочет! – крикнул он, наконец, – позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребят и соколят продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого

же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... за... хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

– Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел – сколько в запасе осталось? – с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рррр...»

– Уйди, постылая! – кротко огрызнулся орел.

– Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

– Второй раз говорю: уйди!

– Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

– Вот тебе задача, – сказал он, – награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну – тебе, другую – всем прочим челядинцам, – сколько на твою долю достанется?

– Все, – отвечал орел.

– Ты говори дело, – возразил сокол. – Ежели бы «все», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмеливается возражать: «Не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличить не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

– А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следа. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченную.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем.

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

– Шабаш! – вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

– Знаки препинания ставить умеешь?

– Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки – всегда, по сущей совести, становлю.

– А женский пол от мужеского отличить можешь?

– Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распротранять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше – больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали – масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накаплилось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съездничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

– Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе – об этом он умолчал.

1886

Карась-идеалист

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» – неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

– Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

– Вот ужо увидишь!

Карась – рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает в множество в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, – не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

– Не верю, – говорил он, – чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье – не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно делается общим достоянием!

– Дождись! – иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это – рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса – всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

– И дождусь! – огрызается карась, – и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности – но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее поро-

дившие, нельзя уже считать неустрашимыми. Тьма – совершившийся факт, а свет – чаемое будущее. И будет свет, будет!

– Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

– Каких таких щук? – удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «на то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех нис и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

– Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали дискутировать.

– В жизни первенствующую роль добро играет, – разглагольствовал карась, – зло – это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

– Держи карман!

– Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

– Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты – вот тебе и сказ весь!

– Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой – об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История – это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

– А ты, видно, доподлинно знаешь, что и зло и безумие посрамлены? – подтрунивал ерш.

– Не посрамлены еще, но будут посрамлены – это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, – и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и сама сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли – в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче – шабаш. Неводы, да верши, да уды – больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

– А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

– В какую такую уху? – удивлялся карась.

– Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш оцетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

– Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, – объявлял ерш.

– Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

– Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

– Что же мне теперича делать?

– Изготавливаться – только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

– Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

– Глуп ты – вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает шуке в хайло лезть!

– Не может такого закона быть! – искренно возмущался карась. – И шука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

– Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

– Вот кабы все рыбы между собой согласились... – загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? – думалось ему, – того гляди, проврет, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

– А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! – убеждал он карася, – не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

– Не хочу я шептаться, – продолжал карась невозмутимо, – а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

– С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! – кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст – в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимая, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

– Посмотри ты на себя, – говорил он карасю, – ну, какую ты, не ровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот – чутошный. Даже чешуя на тебе – и та несерьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости – как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.